

ЛИКА

I

Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества.

В первый день в Орле я проснулся еще тем, каким был в пути, – одиноким, свободным, спокойным, чужим гостинице, городу, – ив необычный для города час: едва стало светать. Но на другой уже поздней – как все. Заботливо одевался, гляделся в зеркало... Вчера, в редакции, я уже со смущением чувствовал свой цыганский загар, обветренную худобу лица, запущенные волосы. Нужно было привести себя в приличный вид, благо обстоятельства мои вчера неожиданно улучшились: я получил предложение не только сотрудничать, но и взять аванс, который и взял, – горячо покраснел, но взял. И вот я отправился на главную улицу, зашел в табачный магазин, где купил коробку дорогих папирос, потом в парикмахерскую, откуда вышел с красиво уменьшившейся пахучей головой и с той особенной мужской бодростью, с которой всегда выходишь из парикмахерской. Хотелось тотчас же идти опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера. Но идти немедленно было никак нельзя: «Как, он опять пришел? И опять с утра?!» – Я пошел по городу. Сперва, как вчера, вниз по Волховской, с Волховской по Московской, длинной торговой улице, ведущей на вокзал, шел по ней, пока она, за какими-то запыленными триумфальными воротами, не стала пустынной и бедной, свернул с нее в еще более бедную Пушкарную Слободу, оттуда вернулся опять на Московскую. Когда же спустился с Московской к Орлику, перешел старый деревянный мост, дрожавший и гудевший от едущих, и поднялся к присутственным местам, по всем церквам трезвонили, и вдоль бульвара, навстречу мне, на паре больших вороных, шедших споро, но мерно, в достойной противоположности с этим трезвонном, прокатил в карете архиерей, благостным мановением руки осенявший влево и вправо всех встречных.

В редакции было опять людно, бодро работала за своим большим столом маленькая Авилова, только ласково улыбнувшаяся мне и тотчас опять склонившаяся к столу. Завтрак был опять долгий, веселый, после завтрака я слушал, как Лика бурно играла на рояли, потом качался с ней и с Оболенской на качелях в саду. После чая Авилова показывала мне дом, водила по всем комнатам. В спальне я увидел на стене портрет, – из рамы недовольно смотрел кто-то волосатый, в очках, с костлявыми широкими плечами. «Мой покойный муж», вскользь сказала Авилова, – и я слегка оторопел: так был поражен нелепостью соединения во что-то одно этого чахоточного с живой, хорошенькой женщиной, вдруг назвавшей его своим мужем. Потом она опять села за работу, Лика нарядилась, сказала нам, – тем своим языком, некоторые особенности которого я уже заметил с неловкостью за нее: – «Ну, дети мои, я исчезаю!» – и куда-то ушла, а мы с Оболенской пошли по ее делам. Она предложила мне пойти с ней на Карачевскую, сказала, что ей нужно зайти там к белошвейке, и мне стало приятно от той близости, которую она вдруг установила между нами этим интимным предложением.

С тем же чувством шел я возле нее и по городу, слушал ее точный голос; у белошвейки с особенным удовольствием терпения стоял и ждал, пока она кончит свои переговоры и

совещания. Когда мы опять вышли на Карачевскую, уже вечерело. «Вы любите Тургенева?» – спросила она. Я замялся, – потому, что я родился и вырос в деревне, мне всегда задавали этот вопрос, непременно предполагая во мне любовь к Тургеневу. – «Ну, все равно, сказала она, это будет все-таки вам интересно. Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в «Дворянском гнезде». Хотите посмотреть?» – И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где, на обрыве над Орликом, в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе... Лиза, Лаврецкий, Лемм... И мне страстно захотелось любви.

Вечером мы все были в городском саду, в летнем театре, – я сидел в полутьме рядом с Ликой, дружно наслаждаясь с ней всей той шумной глупостью, что шла и в оркестре и на сцене, на какой то снизу освещенной площади, где, подхватывая плясовые грохоты музыки, топали в пол и стучались пустыми оловянными кружками хорошенькие горожанки и королевские латники, а после театра тут же, в саду, ужинали, – я в первый раз в жизни попал в летний ресторан, сидел на просторной и людной террасе, за бутылкой вина во льду, с дамами. К ним то и дело подходили знакомые, и со всеми с ними меня тоже знакомили, и все они были очень любезны со мной, – кроме одного, который, сделав легкий поклон в мою сторону, не обратил больше на меня никакого внимания: это был человек, доставивший мне впоследствии – тоже совершенно невнимательно – много душевных мук, очень высокий офицер с продолговатым матово-смуглым лицом, с неподвижными черными глазами, с черными полубачками, в ладном сюртуке ниже колен, в узких панталонах со штрипками. Она много говорила и смеялась, показывая свои чудесные зубы, зная, что все ею любят, и я уже не мог спокойно смотреть на них, я похолодел, когда офицер, отходя от нашего стола, немного задержал ее руку в своей большой руке.

В день моего отъезда гремел первый гром. Помню этот гром, легкую коляску, уносившую меня на вокзал с Авиловой, – она почему-то поехала провожать меня, – чувство гордости от коляски и от этого соседства, странное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную любовь к которой я уже совсем верил, и то чувство, которое преобладало надо всеми прочими, – чувство какого-то особенно счастливого приобретения, будто бы сделанного мной в Орле. На платформе вокзала меня поразило то, как велики, крупны были все те парадные, отборные люди, что выжидательно толпились на ней, как простонародны казались, при всем блеске их церковного убранства, лица духовенства, с крестами и кадилами в руках стоявшего впереди всех прочих. В то мгновение, когда всей своей тяжелой силой низвергся, наконец, на вокзал великокняжеский поезд, и всех ослепил красный доломан выскочившего из него ярко-рыжего гиганта, все как-то смешалось, спуталось, – не помню дальше ничего, кроме мрачно-угрожающего торжества панихиды. Потом маслянисто-стальная громада паровоза в угольных флагах загрохотала мощными, державными толчками своей вновь задышавшей трубы, и длинно, плавно потянулся назад полосой белой стали локоть его поршня, поплыли вперед синезеркальные стены вагонов с золотыми орлами...

Я глядел на литые колеса, все быстрее вращавшиеся под ними, на тормоза и рессоры, – и видел уже только одно: то, что все это густо покрыто белой пылью,

волшебной пылью долгого быстрого пути с юга, из Крыма. Поезд, грохоча, скрывался, продолжая свой величественно-траурный бег через Россию, куда-то туда, к ее возглавию, я же весь был в этом сказочном Крыму, в пленительных гурзуфских днях легендарного Пушкина.

Мой скромный уездный поезд ждал меня на дальней боковой платформе, и я уже был рад тому уединению и отдыху, который предстоял мне в нем. Авилова пробыла со мной до самого отхода его, все время весело болтая, говоря, что надеется скоро увидеть меня снова в Орле, улыбкой давая понять, что она прекрасно видит то забавное горе, которое приключилось со мной. При третьем звонке я горячо припал к ее руке, она коснулась губами моей щеки. Я вскочил в вагон, он толкнулся и двинулся, я, высунувшись в окно, смотрел, как она отдалялась, стоя на платформе и легонько мне махая...

В пути после того все казалось мне трогательно: и этот коротенький поезд, который то еле тянулся, то вдруг пускался отчаянно качаться и греметь, и те безлюдные станции и полустанки, на которых он неизвестно зачем стоял без конца, и все то, уже свое, знакомое, что снова окружало меня: косыми буграми идущие мимо окон поля, еще голые и потому особенно невзрачные, голые березовые перелески, тихо ждущие весны, скудные горизонты... Вечер был тоже скудный, по-весеннему прохладный, с бледным низким небом.

II

Из Орла я увозил одну мечту: как-то продолжить – и, насколько возможно, скорей – то, что началось в Орле. Однако, чем дальше уезжал от Орла, тем все чаще забывал о нем, глядя в окно на поля, на долгий апрельский закат. И вот в вагоне уже совсем сумерки, сумерки и за окнами, в этом редком дубовом лесу, что идет слева от поезда, – голом, корявом, засыпанном рыжей прошлогодней листвой, только что вышедшей из под зимних снегов. И я уже стою, держу свою сумку в руках, все больше волнуясь: это уже Субботинский лес, за которым тотчас станция Писарева. Поезд предостерегающе и печально кричит куда-то в пустоту; я спешу на площадку: как-то первобытно сыро, свежо, накрапывает дождь, перед станцией одиноко стоит товарный вагон. Поезд обходит его, и я еще на ходу соскакиваю. Потом бегу по платформе, прохожу слабо освещенный, бесконечно печальный, затоптанный мужиками вокзал, выхожу на темный подъезд. В круглом дворе перед ним – жалкий и грязный после зимы палисадник, чуть видная в сумраке лошаденка мужика-извозчика. Мужик этот, иногда по неделям напрасно ожидающий седока, кидается ко мне со всех ног, восторженно соглашается с каждым моим словом, готов скакать со мной хоть на край света и за все, что угодно – «авось, не обидите!» – и через минуту я уже покорно трясусь в его мелкой тележке: сперва по дикой и темной деревне, потом – все тише и тише – в темных, молчаливых, всему миру чужих полях, в черном море земли, за которым брезжит в бесконечной дали под тучками на северо-западе что-то зеленоватое. Дует навстречу ночной полевой ветерок, жидкий, дождевой, апрельский, где-то далеко – и все как будто меняя под ветром места – хлопает перепел. Мелькают в тучках, в низком русском небе, редкие звезды ... Опять перепела, весна, земля – и моя прежняя, глухая, бедная молодость! Дорога мучительно долга: десять верст в поле с русским мужиком неближний путь. Мужик стал тих, загадочен, пахнет избой, сухой овчиной своего вытертого полушубка, на просьбы поспешать молчит, а как

только изволок, соскакивает с передка и ровным шагом идет с веревочными вожжами в руках рядом со своей едва плетущейся кобылкой, лицо отворачивает ... При въезде в Васильевское казалось, что уже глубокая ночь: нигде ни огня, все безжизненно. Глаз привык к темноте и хорошо видно каждую избу, каждую голую лозинку перед избой на той широкой улице, по которой въезжаешь в село; потом видишь и чувствуешь спуск в апрельскую сырость низменности, влево мост над рекой, а справа дорогу вверх, к неприветливо чернеющей усадьбе. Чувства опять очень острые: как все страшно знакомо и вместе с тем ново – этой своей весенней деревенской чернотой, убожеством, равнодушием! Мужик совсем омертвел, тащась на гору. Вдруг там, из-за сосен палисадника, блеснул в окне огонь. Слава Богу, еще не спят! Радость, нетерпение – и мальчишеский стыд, когда наконец тележка останавливается возле крыльца и надо слезать, отворять дверь в прихожую, входить и видеть, как тебя с улыбкой рассматривают ...

Из Васильевского я ехал на другой день верхом, под тихим и светлым утренним дождиком, который то переставал, то опять сыпался, среди пашен и паров. Мужики пахали и сеяли. Пахарь, босиком, шел за сохой, качаясь, оступаясь белыми косыми ступнями в мягкую борозду, лошадь разворачивала ее, крепко натуживаясь, горбясь, за сохой вилял по борозде синий грач, то и дело хватая в ней малиновых червей, за грачом большим, ровным шагом шагал старик без шапки, с севалкой через плечо, широко и благородно-щедро поводя правой рукой, правильными полукружиями осыпая землю зерном.

В Батурине было даже больно от той любви, радости, с которой был встречен я. Больше всего поразила меня даже не радость матери, а радость сестры, – я не чаял такой прелести любви и радости, с которой она, выглянув в окно, кинулась ко мне на крыльцо. И как она была прелестна вся – своей чистотой, юностью, как невинна, свежа была даже своим новеньким платьицем, в первый раз надетым в этот день ради меня. Очаровал меня и дом – своей старинной прекрасной грубостью. В моей комнате все было так, точно я только что вышел из нее: все на тех же местах, – даже та наполовину сгоревшая сальная свеча в железном подсвечнике, которая осталась на письменном столе в день моего отъезда зимой. Я вошел, посмотрел кругом: черные образа в углу, за старинными окнами с цветными верхними стеклами (лиловыми и гранатовыми) видны деревья и небо, – кое где голубеющее и сыплющее мелким дождем на зеленеющие ветви и сучья, – в комнате все несколько сумрачно, просторно, глубоко ... потолок темный, деревянный, гладкий, из таких же темных, гладких бревен и стены... гладки и тяжки круглые отвалы дубовой кровати ...

III

Для новой поездки в Орел оказался деловой предлог: нужно было отвезти проценты в банк. И я повез, но заплатил только часть, остальное растратил. Это был поступок не шуточный, но со мной что-то делалось – я не придавал ему особого значения. Я все время поступал с какой-то бессмысленно-счастливой решительностью. Едучи в Орел, опоздал к пассажирскому поезду – и тотчас устроился на паровоз товарного. Помню, влез по высокой железной подножке во что-то грубое, грязное, стою и смотрю. Машинисты в чем-то сверх меры засаленном, железно блестящем; так же засалены, блестящи и лица их, негритянски разительны белки, словно нарочно, как у актеров, подмазаны веки. Молодой резко гремит железной лопатой в каменном угле, наваленном на полу, с громом

откидывает заслонку топки, откуда адски вырывается красный огонь, и размашисто осаживает этот ад чернотой угля с лопаты, старший перетирает пальцы ужасающей по своей сальности тряпкой и, швырнув ее, что-то дергает и что-то повертывает...

Раздается раздирающий уши свист, откуда то горячо обдаёт и окутывает ослепляющий пар, оглушает что то вдруг загрохотавшее – и медленно тянет вперед... Как дико грохочет этот грохот потом, как все растёт и растёт наша сила, прыть, как все вокруг трясется, мотается, прыгает! Застывает, напряженно каменеет время, ровно трепещет по буграм с боков огненный, драконий бег – и как скоро кончается каждый перегон! А на каждой передышке после него, в мирной тишине ночи и станции, пахнет лесным ночным воздухом и из всех окрестных кустов бьет, торжествует, блаженствует соловьиное пение... В Орле я непристойно нарядился, – тонкие щегольские сапоги, тонкая черная поддевка, шелковая красная косоворотка, черный с красным околышем дворянский картуз, – купил дорогое кавалерийское седло, которое было так восхитительно своей скрипящей и пахучей кожей, что, едучи с ним ночью домой, я не мог заснуть от радости, что оно лежит возле меня. Ехал опять на Писарева – с целью купить еще лошадь – там как раз в эту пору была в селе конская ярмарка. На ярмарке подружился с некоторыми из своих сверстников, тоже все в поддевках и дворянских картузах, давних завсегдатаев ярмарок, и с их помощью купил молодую породистую кобылу (хотя цыган отчаянно навязывал мне старого мерина, запаленного донца, – «купи, барин, Мишу, век будешь любить меня за Мишу!»). Лето после того стало для меня сплошным праздником – я и трех дней подряд не проводил в Батурине, все гостил у своих новых друзей, а когда она вернулась из Орла, стал пропадать в городе: как только получил от нее краткую записку: «вернулась и жажду свидания», тотчас поскакал на станцию, несмотря на неприятность от глупого остроумия этой записки и на то, что был уже вечер и надвигались тучи, а в вагоне, как пьяный, радовался шибкому ходу поезда, казавшемуся еще шибче от уже бушевавшей грозы, от того, что грохот вагона сливался с ударами грома, с шумом ливня по крыше, и все это среди синего пламени, поминутно затоплявшего черные стекла, по которым, пенясь, хлестала и свежо пахла дождевая вода.

Не было как будто ничего, кроме удовольствия веселых встреч. Но вот, – это было уже в конце лета, – один из этих друзей, живший с сестрой и стариком отцом в именице недалеко от города, на обрывистом берегу Исты и тоже бывавший у нее, пригласил к себе довольно большое общество на именинный обед. За ней он приехал сам, она ехала с ним в шарабанчике, я сзади, верхом. Радовал солнечный, сухой простор полей, открытые и как бы песчаные поля были без конца покрыты копнами. Все во мне требовало чего то отчаянно-ловкого. Я безбожно горячил и сдерживал лошадь, потом пускал ее и на всем скаку махал через копны, в кровь рассекая ей бабки острыми подковами. Именинный обед на прогнившем балконе длился до вечера, вечер незаметно слился с ночью, с лампами, вином, песнями и гитарами. Я сидел рядом с ней и уже без всякого стыда держал ее руку в своей, и она не отнимала ее. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли с балкона в темноту сада, она остановилась в его теплой черноте и, прислонясь спиной к дереву, протянула ко мне руки, – я не мог разглядеть, но тотчас угадал их движение... Быстро посерело после того в саду, хрипло и как то беспомощно-блаженно стали кричать в усадьбе молодые петушки, а еще через минуту стал светел весь сад от огромного золотистого востока, раскрывшегося за ним над желтыми полями за речной

низменностью ... Потом мы стояли на обрыве над этой низменностью, и она, глядя на солнечно разгорающийся небосклон и уже не замечая меня, пела «Утро» Чайковского. Оборвав на высоком, недоступном ей звуке, она подхватила нарядные оборки батистовой юбки цвета куропатки и побежала к дому. Я остановился, растерянный, но уже неспособный не только соображать что-нибудь, но просто держаться на ногах. Я отошел под старую березу, стоявшую на скате обрыва в сухой траве, и прилег под ней. Был уже день, солнце взошло и, как всегда в конце лета, в погожую пору, сразу наступило светлое жаркое утро. Я положил голову на корни березы и тотчас заснул. Но солнце разгоралось все жарче, – вскоре я проснулся в таком зное и блеске, что встал и, шатаясь, пошел искать тени. Весь дом еще спал, стоя в сухом ослепительном свете. Не спал один старый хозяин. Из открытого окна его кабинета, под которым густо разрослась одичавшая сирень, слышался его кашель, в котором чувствовалось старческое наслаждение первой утренней трубкой, утренним стаканом крепкого чаю со сливками. На мои шаги и шум воробьев, ливнем сорвавшихся от меня с блестящей под солнцем сирени, он выглянул в окно, запахивая на груди старенький халатик из турецкого узорчатого шелка, показал свое страшное от запухших глаз и громадной седой бороды лицо и улыбнулся с необыкновенной добротой. Я виновато поклонился, прошел по балкону в раскрытые двери гостиной, совершенно прелестной своей утренней тишиной и пустотой, летающими в ней бабочками, синими старинными обоями, креслами и диванчиками, лег на один из этих диванчиков, на редкость неудобный своей изогнутостью, и опять заснул глубоким сном. Но тут, – будто бы тотчас же, хотя спал я долго, – кто то подошел ко мне и, смеясь, что то стал говорить, путать мне волосы.

Я очнулся – передо мной стояли молодые хозяйка, брат и сестра, оба черные, огнеглазые, по-татарски красивые, он в желтой шелковой косоворотке, она в такой же кофточке. Я вскочил и сел: они как-то очень хорошо говорили, что пора вставать, завтракать, что она уже уехала, и не одна, а с Кузьминым, и подали мне записочку. Я тотчас вспомнил глаза Кузьмина, – бойкие, дерзкие, какие-то пестрые, цвета пчелы, – взял записочку, пошел в старинную «девичью», – там смиренно ждала меня над табуретом с тазом, держа в худой руке, покрытой гречкой, кувшин с водой, какая-то старушка во всем темненьком, – на ходу прочел: «не старайтесь больше меня видеть» – и стал умываться. Вода была ледяная, острая – «у нас ведь ключевая-с, колодезна», сказала старушка и подала мне длиннейшее льняное полотенце. Я быстро прошел в прихожую, взял картуз и нагайку, пробежал через жаркий двор в конюшню ... Лошадь тихонько и горестно заржала мне навстречу из сумрака, – она так и осталась под седлом, стояла возле пустых яслей, с подведенными пахами, – я схватил повод, вскочил в седло, все еще как-то дико-восторженно сдерживая себя, и помчался вон со двора. За усадьбой я круто свернул в поле, понесся куда глаза глядят по шуршащему жнивью, осадил лошадь под первой попавшейся копной и, сорвавшись с седла, сел под ней. Лошадь шумела, хватая зубами и таща к себе снопы за сыплющиеся точно стеклянным зерном колосья, тысячами часиков знойно торопились в жнивьи и в снопах кузнечики, точно песчаной пустыней простирались вокруг светлые поля – я ничего не слышал, не видал, мысленно твердя одно: или она вернет мне себя, эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, зашумевшие от ее замолкавших в сухой траве ног, или не жить нам обоим!

С этими сумасшедшими чувствами, с безумной уверенностью в них я поскакал в город.

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу вы можете почитать в
Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К.
Крупской
по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20
тел.: для справок: (3532) 77-92-66